

Лев ПАСЕКОВ

ЗАПИСКИ ЦЕРКОВНОГО СТОРОЖА

Публикация, вступление Евы Лисиной

Лев Дмитриевич Пасеков (1933–2018) – мой муж. В 1965–1967 годы мы с ним работали в одном научно-исследовательском институте. Он, окончивший МАИ, был прекрасным специалистом. Работал ведущим инженером. Человек красивый, благородный, общительный, необычайно добрый, отзывчивый. Все было очень хорошо. У нас родилась дочь, которую он очень любил. Но вдруг все изменилось. Его уволили (или заставили уволиться) с работы, после этого он уже нигде не мог устроиться. Мне говорил только об одном: его везде преследуют, даже соседи следят за нами, доносят на нас. Он ушел из дома, скрывался. К нам несколько раз приходили, допрашивали меня: «Где Пасеков?» Я отвечала: «Не знаю». Я действительно не знала, где он находится.

Причину всех этих бедствий я узнала намного позже от самого Льва Дмитриевича за два года до его смерти: оказывается, во время работы в институте ему предложили быть осведомителем, он отказался...

Подобную историю рассказывал близкий друг Г. Айги бакирский писатель Рим Ахмедов, который в полной мере испытал на себе последствия такого предложения и такого отказа¹.

Ева Лисина

В моей жизни был период, когда я бедствовал. Он продолжался несколько лет.

Объяснялось это тем, что подпал под действие определенного постановления о запрете на профессию для целой категории так называемых трудящихся, к которой принадлежал и я. Это постановление нигде не было конкретно записано, но тем не менее выполнялось безукоризненно. В соответствии с ним я не имел права на умственную трудовую деятельность, а на простую физическую работу не мог быть принятым потому, что в бумагах моих значилась моя предназначенность именно к умственному труду.

А это было такое время, когда днем, если вы шли по городу, к вам могли подойти люди в штатском и спросить документы или по крайней мере спросить убедительного объяснения тому, почему вы находитесь на улице в рабочее время.

Разумеется, я не мог находиться и дома, так как там не без помощи патристически настроенных соседей меня ожидала засада.

Случаи убедиться в этом у меня были...

Поэтому я часто по несколько дней жил то у одних, то у других моих друзей или знакомых, стараясь выдерживать необходимый промежуток времени, чтобы не успеть надоесть, после чего уходил к другим, у которых тоже существовал некоторое время, и так – по кругу, через некоторое время возвращаясь к прежним, полный впечатлений и переживаний от новых встреч и неожиданных событий, которыми и делился с доброжелательными хозяевами.

Однажды мне пришлось ночевать в морге. Туда меня привел один очень хороший мой знакомый художник.

Это было одноэтажное кирпичное здание с одним входом посередине и двумя помещениями – направо и налево от входа, в одном из них находились деревянные

* Ахмедов Р. Промельки // Бельские просторы. 2010. № 9. С. 102–125.

двухэтажные нары с набитыми соломой тюфяками, на которых и можно было ночевать, разумеется, не снимая одежды.

Здание находилось во дворе какой-то больницы, главврач которой был меценатом, благоволил художникам андеграунда, авангардистам, а те одаривали его своими произведениями просто за ночлег и тепло, так необходимые людям, создававшим если и не прекрасные, но правдивые и интересные произведения искусства.

Как-то весной уже у других моих знакомых мне устроили ночлег по всем правилам гостеприимства на чердаке двухэтажного дома. Раскладушка находилась у слухового окна, а дом стоял на краю парковой зоны нашего большого города, так что воздух был чист, пахло сиренью, где-то недалеко и еле слышно журчала небольшая речушка.

Часа в три или четыре утра, когда уже начинало светать, я услышал полный панического ужаса вопль кошачьей драки где-то у меня над головой или рядом, и проснулся я оттого, что сам заорал истошным голосом, чем и разогнал дерущихся соперников: наверное, подобный окрик со стороны человека явился для них желанным поводом избежать драки и разбежаться в стороны.

Кстати, это могла быть и не драка. Просто бродячий одинокий кот, привыкший к своему одиночеству на чердаке этого дома, вдруг пришел в ужас и страшно напугался, когда внезапно увидел рядом с собой голову беззвучно спавшего человека, до шеи укрытого одеялом, которое своим цветом сливалось с окружающим полумраком чердачного помещения, из-за чего голова и могла восприниматься отдельно как бы без и вне ее связи с остальным телом.

И в самом деле: кого не повергнет в состояние панического страха и ужаса вид человеческой головы в глубине слухового окна в предрассветном полумраке на чердаке старого кирпичного дома!

Такое зрелище и могло вызвать вопль ужаса у перепуганного животного. Кроме того, я вообще замечал, что из двух участников кошачьего поединка вопит истерическим голосом тот, который больше боится...

Я вспоминаю все подробности этого незначительного события потому, что, по всей видимости, именно с него началось или должно было начаться мое реальное познание тогдашней окружающей действительности. Появилась мысль, которая последовала, которая и возникла после моего ответного крика бры-ы-ы-сь! на чердаке этого дома, в котором жили приютившие меня приятели.

Эта мысль была такова: *что* происходит с внутренней организацией живого существа, которое мыслит, а если оно мыслит, то как живому существу-человеку устроить и обустроить свой внутренний мир для того, чтобы познание окружающей действительности для него совпадало с интересами существования этой действительности и не противоречило бы этой действительности и ее существованию.

Эта мысль сформулировалась в следующем виде: сколько ты получил (имеется в виду энергетически), столько же ты и должен отдать, оставив у себя память об этом.

И для того должен отдать сколько получил, чтобы не оставить в себе какую-либо энергетически избыточную патологию, или энергетически избыточную недостаточность.

Кстати, большинство болезней, свойственных человеку, происходит потому, что он вовремя не смог отдать или лишь частично отдал внешне пришедшую к нему энергетическую посылку или воздействие.

И уже после, с течением времени, пришло и объяснение значения этой мысли: в ней мы имеем дело с нематериальной основой протекания и осуществления материально-физических процессов, а носителем этой нематериальной основы и является человек, человеческий субъект,

– но не как биологическая индивидуальность, а как организующее начало процессов жизнедеятельности,

– и в этом своем качестве являющийся носителем поля существования и осуществления взаимоотношений и взаимодействий, и, следовательно, являющийся олицетворением действительной,

– а не кажущейся социальной сущностью, представляемой индивидуально и лично

– в исключительной ее полноте.

Потому что действительная социальная сущность может быть представленной и представляемой в исключительной ее полноте – не социально, а индивидуально и лично.

От знакомых моих знакомых – к третьим моим знакомым, у которых в это время я находился, последовал телефонный звонок, на другом конце провода поинтересовались, не имею ли я чего-либо против простого физического труда, и если нет, то приглашали меня прийти во столько-то туда-то и туда-то и встретиться с человеком, с которым я еще не был знаком, но по рекомендации которого меня могли бы принять на эту простую физическую работу.

Тон этого телефонного разговора был совершенно спокойным и ненавязчивым, но в нем каким-то образом чувствовалась абсолютная уверенность в моем согласии на такую работу: у меня ничего не спрашивали, ничего не предлагали, а просто как будто меня взяли за руку и совершенно безропотного привели туда, где как будто меня уже давно ожидали.

И мы пришли вместе с встретившим меня человеком в церковный двор при большом православном храме, где сбоку у забора находилась деревянная одноэтажная постройка, похожая на складское помещение, в которой сидел пожилой человек, как мне позже сказали, помощник старшего администратора.

Этот человек спросил только мое имя, не стал спрашивать фамилию или какие-либо документы, но, видимо, по моему достаточно истощенному виду кое-что обо мне заключил и сказал, чтобы я пошел на кухню и от его имени передал, чтобы меня накормили. А после чтобы я его нашел и он мне покажет фронт моей будущей работы.

Так и начался мой испытательный срок. Двор был большой, в нем всегда было много работы, и с непривычки в первые дни я прилично уставал.

И одно из первых впечатлений моих о новой форме моей занятости, заставившее меня о многом задуматься, было вызвано следующей ситуацией: работал я, добросовестно убирая двор, но иногда останавливался передохнуть. И тут появлялся старший администратор, молча проходил мимо, никаких замечаний не делал, но его поза, походка и еще что-то неуловимое не то чтобы обязывало, но подсказывало мне о необходимости продолжать работу.

И я продолжал. Через некоторое время я снова делал передышку, чтобы, как говорят в этих случаях, перевести дух. И тут снова появлялся старший администратор.

И так продолжалось довольно долго, несколько дней подряд.

И было о чем задуматься: выкладываешься изо всех возможных сил, а впечатление о тебе создается как о бездельнике.

Однажды помощник администратора поручил мне кроме ежедневной уборки выполнить еще одну работу – произвести уборку и собрать мусор вокруг кустов, посаженных внутри двора вдоль решетчатого забора, возведенного из материала художественнойковки еще дореволюционного производства.

А дело было весной, из-под таявшего снега выступало все то, что за зиму набросали сквозь чугунную решетку ограды. Задание же состояло в том, чтобы убрать весь мусор от угла двора до калитки. Но несколько метров кустарника продолжалось вдоль забора и дальше, и я решил сделать уборку и там, как бы перевыполняя порученную мне работу.

С ветвей кустарника я снял какую-то проволоку, положил ее в карман и сразу же о ней забыл, потому что заметил, что через стекло обычно запертой двери бокового входа в храм за мной внимательно наблюдает старший администратор.

Все эти мелкие детали первых дней моего испытательного срока врезались в память потому, что с ними оказались связанными следующие два события.

Первое: первоначальная ситуация, когда я выглядел бездельником несмотря на свой добросовестный труд, преломилась на полную свою противоположность: я по-прежнему делал передышки между часами физической работы, но только теперь делать эти передышки мне никто не мешал, даже наоборот: стоило мне взяться за инструменты – лопату, тележку или метлу – как сразу же откуда-то появлялся старший администратор, но с его стороны это было не наблюдение, а скорее всего своеобразное, молчаливое, доверительное общение со мной. Вероятно, он зачислил меня в хорошие, надежные работники. Я почувствовал, что теперь за мной никто не наблюдает. Это было для меня большой помощью.

Так что противоположность этой ситуации по отношению к первоначальной выражалась в том, что теперь при желании можно было оставаться фактическим бездельником, но иметь при этом репутацию трудолюбивого работника.

Второе событие: проволока, которую я нашел в мусоре и положил в карман, а затем о ней забыл, оказалась, когда я ее очистил от грязи, тонким золотым колечком с незатейливым узором, пропиленным в одном месте кустарным способом.

Конечно, я был окрылен этой находкой, но не потому, что она представляла собой какую-то материальную ценность (ценность ее была пустяковой). Я воспринял эту находку как знак благословения свыше на чистый и бесхитростный человеческий труд.

Ведь правда же: этой должности никто не позавидует; в этой должности человек с никакими материальными ценностями дела не имеет, но при этом выполняет, в условиях города в особенности, может быть, самый важный или один из самых важных видов или форм человеческого труда; дохода от этой работы почти никакого не имеет, но при всем этом находится на самом нижнем этаже иерархии человеческой вертикали власти, он подчиняется всем вышестоящим этажам этой иерархии, а ему уже никто не подчиняется, так как под ним находится только земля, понимаемая иногда как своеобразный фундамент этой трудовой вертикали власти.

В этом качестве и на этом месте я и проработал около десяти лет.

За эти десять лет человеку, находящемуся на этой моей работе, можно было узнать многое, ибо эта работа находилась как раз на границе, посредством которой церковь отделена от государства. Можно даже сказать, что человек этой должности как раз и находился на самой этой границе и мог судить о том, что происходит по одну ее сторону, с точки зрения ценностей, принятых или существующих по ее другую сторону.

И о том, что происходит по другую ее сторону – судить со всей возможной точки зрения ценностей, существующих на первой стороне.

Тем более, если государство имеет или испытывает тенденцию быть или стать государством тоталитарного способа или принципа своей организации.

Прежде всего о самой этой границе. Почти на самой поверхности лежит та очевидная истина, что граница эта отделения церкви от государства существует для церкви, а не для государства, и государство почти беспрепятственно может вникать во внутренние дела церкви, а церковь вникать во внутренние дела и внутреннюю организацию государства органически не может; не может, да и не желает.

И в этом положении дел можно усмотреть совершенно отчетливые закономерности.

А дело в том, что церковь наконец усвоила, что вполне можно позволить государству вмешиваться в дела церкви просто по той элементарной причине, что вмешиваться оно может только в государственную сторону того, что существует или может существовать внутри церкви, то есть в материальную сторону ее существования, а в идеологическую сторону организации и существования церкви государство вникать и вмешиваться органически не может, как говорят иногда в подобных случаях, потому что в идеологической и организационной стороне существования церкви государство ни бельмеса не смыслит.

И вот наконец, когда церковь усвоила эту элементарную истину, она позволила государству вникать во все то, в чем государство могло оставаться или могло считать себя компетентным в своем вмешательстве во внутренние дела церкви.

При этом позиция, и можно сказать, само существование человека на границе этого разделения, на границе, которую с достаточным основанием можно определить как полупроницаемую, как границу полупроводимости,

- связано с определенными трудностями и даже лишениями,
- ведь с точки зрения каждой стороны, человек, находящийся на границе этого разделения, пользуется преимуществами или даже привилегиями, предоставляемыми ему с противоположной стороны, и поэтому эта сторона и не думает предоставлять ему каких бы то ни было благ, или преимуществ,
- может быть лишь за исключением самого минимального минимума,
- но со своей стороны нагружает его обязанностями, которые ею сформулированы исходя из своих представлений о всем, что происходит по другую сторону этой границы.

В результате человек, находящийся в этой ситуации или на этой границе, ни с той, ни с другой стороны никаких особенных благодетаний не получает, а нагрузку и требования должен выполнять, предъявляемые ему и с той, и с другой стороны.

Конечно, это трудно, но это есть вполне достойная плата за то, *что* и *как* он может узнать о той и другой стороне, об их знании друг о друге, об их взаимоотношениях между собой.

А церковь могла бы вмешиваться в дела государства, или вникать, тем более что понятие или понимание вмешательства и проникновения для государства и церкви есть понятия и понимания совершенно противоположные и несовместимые.

Церковь могла бы вмешиваться и вникать во внутреннюю структуру и внутренние дела государства, но для этого она должна была бы преодолеть в себе эту государственную часть – или государственную сторону уже своей внутренней организации и сущности.

В этом плане и приоткрывается для нас некоторая возможность выяснить

- а в чем же и как церковь могла бы преодолеть в себе эту государственную составляющую? В чем и как она могла бы (или смогла бы) преодолеть в себе эту, в общем-то чуждую для самой себя часть?
- для того, чтобы практически участвовать в обеспечении благосостояния и государства с его многочисленным народонаселением, но и себя самой представляя собой народонаселение государства? Другими словами, какого рода своими собственными усилиями и без какого-либо воздействия извне церковь могла бы в приемлемой форме изменить или реорганизовать себя внутренне, чтобы беспрепятственно вникать во внутренние дела и внутреннюю организацию государства?

То есть точно так же, как государство, проникая и вмешиваясь во внутренние дела и внутреннюю организацию церкви, в попытках проникнуть и в идеологическую сторону существования церкви, встречает в этих своих попытках проникновения

- совершенную пустоту,
- а некоторый эффект от своего проникновения может испытывать проникая лишь в государственную сторону того, что существует внутри церкви,

- то точно так же, если церковь преодолет в себе эту государственную сторону или часть своей сущности, или своего существования,
- то сможет проникать во внутреннюю организацию или внутреннюю сущность государства,
- так сказать, совершенно не затрагивая его государственность. И государство совершенно не сможет как-либо воспринимать или как-либо отвечать на проникновение церкви во внутреннюю организацию и внутреннюю структуру государства, а государство при этом, оставаясь государством, просто утратит свою агрессивность и во внешней, и во внутренней своей политике.

Государство не будет воспринимать это явление проникновения церкви во внутреннюю структуру государства, оно просто будет знать об этом как о совершившемся факте, но органически утратит основное в себе, то, посредством чего оно всегда действовало и в чем воспринимало в себе свою сущность, а именно воинственность и агрессивность, которые, вообще-то говоря, и держатся, и существуют на основе государственно-материалистического понимания причинности...

Причем, если воинственность и агрессивность прямолинейно и открыто признаются государством в качестве своей сущности, и в качестве государственной идеологии, оно принципиально недолговечно.

Исторический опыт существования государственности красноречиво об этом и свидетельствует.

Но государства пытаются претендовать на долголетие, причем чем агрессивнее и воинственнее они, тем основательнее и жестче, и тогда они начинают делать попытки представить себя или представлять себя как источник благополучия и благосостояния. И они начинают уверять общественное мнение в том, что они – источник добродетели, хотя раньше, в прошедшие времена, они гордились своей жестокостью и неприкрытой воинственностью.

И уже одно то, что уже в наше время государства пытаются скрывать свою агрессивность под маской доброжелательности, говорит о скором исчезновении насилия в нашем Мира и из нашего Мира.

Но вернемся к этому направлению размышлений о существе этой границы разделения церкви от государства.

Человек, по своей должности находящийся как раз и непосредственно на этой границе, для людей, так или иначе связанных с государством, является олицетворением или по крайней мере представителем церкви.

Для большинства же людей, непосредственно вовлеченных в богослужебную деятельность внутри церкви, человек в этой должности является представителем или даже олицетворением государства.

Примеров, подтверждающих это положение дел за время моей работы в качестве церковного сторожа было достаточно много.

Однажды подошел ко мне человек и сказал, что желает со мной поговорить.

Был уже вечер, служба в храме закончилась, дневное задание было мной выполнено, и я находился в сторожке, стоявшей вне храма у ворот в церковный двор.

Ворота были заперты, а окно сторожки выходило на улицу. К форточке подошел человек, желающий поговорить со мной. Я вышел к нему на улицу.

Он рассказал, что уже почти целый день находится здесь, около церкви, хотел поговорить со священником, но у него никак не получается. «Я мог бы поговорить с тобой, – сказал он, – я же видел, что ты добрую часть дня кувыркался в пыли, убирая улицу, двор вокруг храма». Я пригласил его в сторожку. Человек продолжил свой рассказ: «Я только что освободился. Все, что они мне дали на дорогу, – это бумажка на бесплатный проезд. Жилья у

меня нет, на работу не принимают. А я слышал, что существует такая форма разговора или обращения к священнику – благословение, но на что я могу спросить у него это благословение? На то, чтобы продолжать нищенствовать? Или на то, чтобы с какого-то прилавка стащить бутылку и снова угодить в тюрьму? И как я к нему подойду, если знаю, что от меня исходит плохой запах? Получить благословение на то, чтобы меня где-либо приняли на работу – бессмысленно, ведь в подобном благословении не существует предмета для благословения и возможность быть где-либо принятым на работу совершенно от меня не зависит, и от того, что я могу получить на нее благословение – тоже». Мне же подумалось: скорее всего в благословении нуждался бы его потенциальный работодатель.

«Я еще слышал, – продолжал он, – что существует и еще другая форма обращения или общения со священником, которая называется исповедь. Но о чем я могу исповедоваться у священника – о том, что я нищ и убог? Я и так нищ и убог, а исповедоваться в этом означало бы для меня удвоение моего нищенства и убожества, и было бы для меня издевательством, которого я достаточно натерпелся в тех местах, откуда только что освободился...»

Я поделился с ним едой, которая у меня была, и дал ему немного денег, хотя бы для проезда по городу. И я совершенно убежден в том, что человек этот ушел от меня, зная, что Бог существует, что есть и существуют люди, которые Ему верят...

Был и другой случай, когда настоятель выводил из бокового входа в церковь женщину, которая ругалась на него плохими словами, а он крикнул мне через церковный двор: «Дежурный! Выведите эту женщину за ворота!», – и ушел обратно в храм; ведь вывести кого-то за дверь или за ворота не является, как говорят, прерогативой непосредственно священнослужителей, но государства, то есть, значит, сторожа или охранника, служащих при храме.

Я подошел к ней и спросил, в чем дело, и она ответила мне, что настоятелю кто-то из прихожан пожаловался на нее, что она во время богослужения приставала к людям. «А я не приставала ни к кому, – говорила она, – просто спросила у кого-то, не могут ли мне помочь чем-то с ребенком». А у нее на руках была девочка лет пяти, и по ним было заметно, что достатка эта семья никакого не имеет, нет и жилья, то есть крыши над головой тоже, потому что ее родственники-коммунисты, как она мне потом сказала, выжили ее вместе с ребенком из комнаты в коммунальной квартире, и забрали эту комнату себе, а она теперь ездит по стране вместе с ребенком, договариваясь с проводниками, просто за то, что выполняет любую работу в вагоне, пока поезд идет; ездит она по монастырям на Северный Кавказ, в Среднюю Азию или Прибалтику: одну-две недели проводит там, выполняя какую-либо работу послушников в храме при монастыре. Ее и ребенка там кормят, дают какую-то одежду из той, что приносят прихожане.

И затем едет таким же образом в другое место, в другой город или район.

В нашем храме, где я был сторожем, она с ребенком появлялась раз или два раза в год. Однажды она приехала и пришла в храм в каракулевом пальто немного не по размеру, да и такая вещь давно вышла из моды.

И я понял ее проблему: она не умела и не могла просить милостыню, она просто, научившись неплохо разбираться в людях, находила человека из прихожан, о котором с уверенностью предполагала, что ее выслушают, не отвернутся от нее и не обругают.

И тогда она подходила к человеку, ни о чем его не просила, но давала понять, что она с ребенком, и что она нуждается.

Это я понял уже тогда, когда услышал ее ругательные слова в адрес настоятеля, которого она обзывала коммунистом.

Я ей немного помог. Ее благодарность при этом не знала границ, так что я чувствовал определенного рода неловкость: благодарила она меня, обращаясь к Богу, не за то, что я ей чем-то помог, но за то, что я предложил ей какую-то помощь, не дожидаясь того, когда она об этом попросит. То есть, за мое понимание того, насколько ей трудно и даже невозможно просить подаяние, продолжая тем не менее нуждаться в нем.

Молитва этой женщины оказалась очень сильной. Каждый раз, когда я ей очередной раз чем-то помогал, то потом, утром, при уборке территории двора или улицы я находил или деньги, или какие-то брошенные или забытые вещи, которые за их невостребованностью приходилось оставлять у себя. Их ценность превосходила мою помощь этой женщине. Однажды после ее посещения я нашел в мусоре, в старой обертке, пакет с небольшим количеством старых медных монет еще царской чеканки. А в какой-то другой раз подобным же образом нашел небольшой сверток, в котором оказался материал, называемый словом «двойник»: это были небольшие листы, штук двадцать, каждый в отдельной обертке, толщиной с папиросную бумагу, пластины наполовину из серебра, наполовину из золота, на упаковке значилась дата конца позапрошлого века. Это был материал для художественной отделки охотничьего оружия: материал этот наносился на сталь, в результате мог получиться узор двух цветов – желтого и белого – по замыслу художника, использовавшего этот материал. Такого рода узоры были обычными украшениями металлических предметов у жителей восточной части кавказских гор...

Время шло год за годом, и как-то эта женщина приехала в нашу церковь одна и на мой вопрос – почему? – ответила, что ее девочку убили в какой-то станице Краснодарского края. Девочке тогда уже было лет пятнадцать-шестнадцать...

Был и такой курьезный случай.

Как-то летом пришел в церковный двор человек в одних носках и обратился ко мне со словами: «У меня украли ботинки, когда я ехал в электричке, дайте мне какую-нибудь обувь».

Я ответил ему, что ни у меня, ни в храме обуви нет, никто не приносил из прихожан за последнее время, да и тем более, что церковь не считает себя благотворительной организацией. (А для себя я отметил, что, видимо, этот человек спал в электричке на скамейке для пассажиров и для удобства снял свою обувь и задвинул ее под скамейку.)

Тогда человек этот спросил с полной непосредственностью простого человека: «А в чем же я буду ходить?» Я ему ответил: «Так что, может быть, отдать тебе мои?» Человек этот посмотрел на мою обувь и заметил: «Да нет, они мне, пожалуй, окажутся маловаты». А я у него в ответ поинтересовался: «А что, если бы подошли, то взял бы?»

На этом наш диалог закончился...

Года через полтора моей работы при храме я набрался смелости и обратился к старшему администратору, не позволит ли он мне ночевать в перерывах между сменами в церковном подвале, а со своей стороны я готов был помогать другим моим сменщикам в работе по двору, в особенности в зимнее время, когда много выпадало снега и одному человеку было совершенно не под силу убрать утром от снега весь двор да еще пешеходный тротуар вокруг церковного двора и храма.

Кроме того, я брался выполнять и роль второго сторожа в ночное время в случае каких-либо неприятных и непредвиденных ситуаций.

Я получил согласие и принялся обустраивать подвал, в котором и просуществовал два года.

Подвал представлял собой небольшой ширины коридор со сводчатым потолком и небольшим кирпичным возвышением в конце этого коридора, так что это возвышение могло находиться как раз под серединой главного помещения храма.

Это возвышение было прежде большой печью кирпичной кладки, для внутреннего обогрева помещений храма зимой посредством целой сети дымоходов под полом храма, видимо, и внутри колонн, и в стенах. И все это было дореволюционной постройки, когда водяное отопление было большой редкостью в нашей стране.

Интересно, что слева от этого коридора и, видимо, на одном уровне с ним, под полом храма, было несколько захоронений заслуживших такие почести выдающихся людей и

деятелей церкви в прошлом; совсем рядом, в нескольких метрах от этого захоронения, на месте прежней печи я и устроил себе свой ночлег.

Необыкновенное умиротворение можно было испытывать иногда, когда ночью с выключенным освещением и в полной темноте вслушиваться в завывание ветра в дымоходах, в особенности зимой и во время вьюги – это был один и тот же сложный звук, то затихающий, то возобновляющийся, состоящий из нескольких тонов одновременно, напоминающий нечто похожее на военно-морской форс-мажор, где слышалась печаль по уходящей жизни, одновременно ощущалась космическая даль казавшегося вполне очевидным загробного существования.

Очень хотелось этот звук записать, но не было у меня необходимого оборудования, а звук напоминал звучание органа, и был прекрасен сам по себе, никакого музыкального сюжета в нем не слышалось, прекрасен был один только тембр, и это можно было сравнить только с отвлеченной живописью, где красивым был не сюжет, не содержание, а набор цветов в каждом отдельном цветовом сочетании...

Не исключено, что идея органа и органной музыки родилась в период строительства католических храмов в Западной Европе еще в самом раннем Средневековье – с высоченными шпилями и, разумеется, с печным отоплением и разветвленной сетью дымоходов в стенах и колоннах: ни о каком другого типа отоплении таких громадных сооружений в те далекие времена и речи никакой быть не могло. А тяга в этих дымоходах различной длины, с различными изгибами и различной шириной была необыкновенно сильной. Достаточно обратить внимание на стометровую высоту труб тепловых электростанций современности. В дымоходах католических храмов старинной постройки рождались необыкновенной красоты звуковые сочетания...

...достаточно обратиться к этой индустриальной картине современности, чтобы оценить изобретательность мастеров, вслушивавшихся в это первоначальное звучание, казалось бы, самого по себе раннего Средневековья...

...природа же выдавала гениальных мастеров, создававших впервые эти величественные и великолепные орудия и инструменты воспроизведения божественных звуков и мелодий.

Однажды одна пожилая женщина, работавшая на кухне и готовившая обед для рабочих и работников храма, не то, чтобы попросила, а именно сказала мне, чтобы я пустил в этот подвал переночевать несколько ночей знакомого ей человека из какого-то храма, находившемся в каком-то далеком сибирском городе.

Женщина эта была суровой и, как правило, молчаливой, далеко не часто заходила в храм на богослужение, так что складывалось впечатление, что молитва для нее была святым делом, к которому можно было прибегать только оставаясь в одиночестве, а свою службу Богу она видела, как это представлялось тогда, именно в своей работе на кухне, участвуя в богоугодном деле обеспечения работающих в храме людей всем необходимым для их работы.

Было понятно, что словам, в том числе словам о Боге, она предпочитала конкретные дела, не являвшиеся непосредственными делами веры, но бывшими условием существования для людей веры.

Человек, о котором она мне сказала, оказался по-своему очень интересным. Я предоставил ему узкую скамейку, нашел что положить под голову и чем укрыться ночью.

Собственно, особенно интересного в этом человеке ничего не было, за все несколько ночей, которые он провел в подвале, мы обменялись едва ли одной-двумя парами слов. Интересным в нем было другое: когда я выключал свет, то увидел, что в корзине, которую он почти все время с собой носил, светится какой-то огонек...

Я потом посмотрел, что это было такое.

Это была лампада, стоявшая на дне алюминиевого бидона, с отверстиями, чтобы проходил воздух и был виден свет. Рядом с бидоном в корзине находилась бутылка с лампадным маслом, и человек этот постоянно это масло подливал в лампаду по мере его выгорания.

И лампада эта горела и светила у него постоянно и непрерывно, где бы он ни был, куда бы и на чем бы ни ехал, так что эту зарисовку нашей действительности мне хотелось бы обозначить заглавием «Просветитель».

Этот человек, по всей видимости, мог быть и неграмотным, но везде, где он был, он всюду символически распространял свет как молчаливую молитву.

Он везде, где бывал (а он ездил по всей стране, также договариваясь с проводниками или водителями), везде создавал своеобразное молитвенное поле.

Свойства такого молитвенного поля известны: человек, попадая в это поле, испытывает состояние совершенно беспрепятственной возможности совершать добрые дела и поступки, на которые у него далеко не всегда доставало мужества в таких ситуациях, когда добродетель вызывала подозрительность или даже насмешки, а порой и издевательства со стороны людей, не верящих в человеческую искренность.

С другой стороны, если в такое поле попадал обычный злонамеренный человек, он начинал испытывать притеснение своей свободой совершать злые поступки и действия, что вызывало у него раздражение или злобу по отношению к тому, кто был носителем этого поля или его источником. Но он был бессилен против молитвы.